

ПРИДАТОЧНОЕ БИОГРАФИИ

Белинский предрекал стихам Боратынского недолгую жизнь, считая, что они выражают собой “ложное состояние переходного поколения”, — Белинский ошибался. От Боратынского и по сей день осталось немало задевающих за живое стихотворений — на большее может рассчитывать только гений, а Боратынский сказал о себе с невеселой здравостью “но вот беда: я не гений”.

Мысль и еще раз мысль — наваждение Боратынского. Сомнительная добродетель рассудочности пагубна для поэзии, но Боратынский каким-то чудом преобразовал свою врожденную склонность к анализу в поэтическое качество. Мысль его прочувствованна, а чувство осмысленно. Эта уравновешенность отзывается благородной сдержанностью, почему лирика Боратынского и лишена удали и ее мрачной разновидности, надрыва — обаятельных, но и чрезмерных свойств, нередких в русской литературе.

Если Пушкин, расставаясь с любимой женщиной, великодушно желает ей, чтобы другой любил ее не меньше, чем он сам, а Лермонтов “опускается” до страстного сведения счетов, Боратынский открывает перед былой возлюбленной диалектическую перспективу изменчивого во времени чувства, которая, не знаю как на адресата лирики, а на читателя действует умиротворяюще.

Слог и синтаксис Боратынского не по-пушкински архаичны. Но когда мне много лет назад предложили угадать автора строк “Зима идет, и тощая земля/В широких лысинах бессилья...”, я, предчувствуя подвох, все-таки назвал Заболоцкого. А слова “О, спи! безгрешно спи в пределах наших льдистых!..”, кажется, хотят быть произнесенными голосом Иосифа Бродского — отдаленного потомка Евгения Боратынского.

Поэт сам был очень умным человеком, дружил и общался с умницами — оттого и время его кажется умным, умнее нынешнего; наверное, оно и впрямь выгодно отличалось от нашего настоящего. Вся традиционная до навязчивости отечественная проблематика уже высказана сполна почти два столетия назад — и так внятно и культурно, что современное ее изложение часто представляется именно “изложением” в школьном смысле слова, причем на “тройку”.

Биография Боратынского — не исполненная крайностей жизнь поэта, а довольно верный отпечаток средней человеческой участи. В дошкольном детстве и в начальную пору учебы мальчик радовал домашних — это в порядке вещей. Сильно проштрафился в отрочестве и с лихвой поплатился за свой проступок — но многие расхлебывают годами художества юности. Был общителен смолodu, замкнулся с возрастом — обычное явление. Женился, ушел с головой в семейные заботы, держал с женой оборону против родни и недругов, как правило, мнимых — знакомо и это. Но при прочих равных Боратынский имел дар и высокую способность к извлечению опыта — и “средней человеческой участи” оказалось вполне достаточно для обретения мудрости. Легкой, в сравнении, например, с полежаевской, солдатчины хватило, чтобы безошибочно распознать нежить деспотической власти: “Обыкновенно она кажется дремлющею, но от времени до времени некоторые жертвы выказывают ее существование, и наполняют сердце продолжительным ужасом”. Досадная авторская недооцененность при жизни, не сопоставимая, конечно, с отверженностью многих отечественных поэтов, позволила сформулировать стоическое литературское кредо: “Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления”.

Незадолго до своей скоропостижной кончины Боратынский пережил то, что Пастернак назвал “из века в век повторяющейся странностью” — “последним годом поэта”. Он испытал

чрезвычайное воодушевление, прилив сил, бодрость духа, так не свойственные ему, меланхолику, созерцателю, скептику. Поэт вел, причем небезуспешно, хозяйственные дела сразу двух поместий; гражданские предчувствия его были радужны — “У меня солнце в сердце, когда я думаю о будущем”; Боратынский отправился, наконец, с семьей в долгожданную и первую поездку за границу; окунулся в шум парижской жизни; написал на пути в Италию единственное, вероятно, вполне мажорное стихотворение “Пироскаф” — и на таком душевном подъеме умер в Неаполе сорока четырех лет от роду.

Чтение жизнеописаний — соблазнительное занятие. Может возникнуть иллюзорное чувство прозорливости. Благодаря случайным обмолвкам и поступкам героя биографии механизм чужой судьбы чего доброго предстанет наглядным и постижимым. (Маяковский, эпатуруя читателей, признается, что не дочитал “Анну Каренину”: “Так и не знаю, чем у них там, у Карениных, история кончилась”. Как чем? — Самоубийством). Но как бы ни был остроумен и догадлив прозорливец за чужой счет, чертеж его собственной жизни проступит вполне отчетливо лишь тогда, когда тот единственный, кого это касается напрямую, разглядеть его будет уже не в состоянии.

Вот и биография Боратынского дает повод к фаталистическим выкладкам. Всю жизнь море было его *idée fixe*. И умудренному мужу, ему случалось мерить свое самочувствие морской мальчиковой мерой: “Я... бодр и весел, как моряк, у которого в виду пристань”. В отрочестве флот сильно влек Боратынского. Уговаривая отпустить его в морскую службу, он с подростковой велеречивостью писал матери, что судьба равно настигнет его и в Петербурге, и на Каспийском море. Все-таки на Средиземном.

Можно зайти с другой стороны. Сызмальства поэт обнаружил в себе “страсть к рассуждению”. И судьба на свой лад учла эту склонность: долгие годы молодому человеку просто не оставалось ничего другого как философствовать и учиться стоицизму — Боратынский был, по существу, поражен в правах и облегчение его участи целиком и полностью зависело от слепой игры случая, то бишь настроения монарха. Снова, по-видимому, удастся разобрать написанное на роду.

Но может быть, разум насильственно привносит смысл и цель в стихию, где им и места-то нет. Сравнил же Пушкин поведение судьбы с повадками огромной обезьяны... Но если это и так, жизнь поэта Боратынского все равно стройна и содержательна. Пушкин же горячо настаивал на том, что даже в ничтожестве своем незаурядный человек — незауряден. Биография Боратынского замечательна тем, что она приобрела черты, присущие его лирике. Жизнь Боратынского умна и элегична, потому что такова эта поэзия. Творчество настоящего поэта всегда первично по отношению ко всему остальному, подчиненному и согласующемуся с искусством, как придаточное предложение с главным, в данном случае — придаточное биографии.